

Суровый добряк

(Из воспоминаний о М. Е. Салтыкове-Щедрине)

Это была довольно жуткая минута в моей жизни: остаться с глаза на глаз, в тесной редакторской комнате, с знаменитым сатириком, вдобавок находившимся в раздраженном состоянии духа!....

Дело было так (дело, кстати сказать, было тридцать лет тому назад). Весной 1881 г. почти одновременно в двух толстых журналах, «Вестнике Европы» и в «Новом Обозрении» (издав<авшемся> Д. А. Коробчевским) появились мои первые беллетристические произведения, военные очерки: «Первое сражение» и «Поручик Поспелов». Дружный успех, сопровождавший их появление в печати, дал мне смелость обратиться с третьим моим военным очерком («Неудачный Герой») в высшую по тому времени журнальную инстанцию: в «Отечественные Записки», издав<авшиеся> М. Е. Щедриным, коему и была передана через поэта Плещеева рукопись «Неудачного Героя».

«Неудачного Героя» встретила, однако, полная удача: очерк не только был охотно принят, но через того же Плещеева мне был передан от лица Щедрина самый лестный и теплый отзыв по адресу моего «Поручика Поспелова», появившегося первым в «Вестнике Европы».

Излишне добавлять, что я чувствовал себя на седьмом небе! Этим счастливым настроением как нельзя кстати воспользовался мой добрый друг и сочувственник Дмитрий Андреевич Коробчевский, собиравшийся в начале мая за границу и предложивший мне отправиться вместе, довольно проникательно ставя на вид, что едва ли представится для такого путешествия более благоприятное стечение обстоятельств. Не долго думая, я взял у начальства двухмесячный отпуск (тогда я еще находился на военной службе) и спешно стал готовиться к отъезду. Разумеется, на таком дорожном положении каждый грош был на счету, и, по совету Плещеева, я решил обратиться, между прочим, за авансом к Михаилу Евграфовичу Щедрину.

Но я попал не в добрый час...

Михаил Евграфович с утра был расстроен какими-то неприятностями, домашними или цензурными, а, может быть, и теми и другими вместе – и в тот самый момент, когда я ему передал мою карточку, кого-то за что-то разносил. В таком состоянии, да еще при развившейся в последние годы болезненности, М. Е. был почти страшен: не говорил, а

грозно рычал, оглушительно кашлял, сыпал грубыми словами и сверкал из-под седых нависших бровей сердито-зелеными глазами – совсем дед-лесовик!!

И вдруг: пожалуйста – вас просят!...

При моей страстной любви к литературе, я вообще робел перед всякими литературными знаменитостями – удивительно ли, что теперь душа ушла у меня в пятки. Плещеев и Михайловский почти насильно втолкнули меня в редакторский кабинет...

Комната была узкая, длинная и полутемная, скорее похожая на лакейскую, чем на кабинет редактора, – вдобавок, без толку загроможденная шкафами с книгами, картонками и рукописями, конторкой с ворохом корректур на ней, и т. п. По левую сторону, в углу, на кушетке, сидел *он* – с шафранным, истощенным лицом, с растрепанными седыми космами, с толстым пледом на коленях.

Я остановился посреди комнаты, ни жив ни мертв.

Щедрин поднял на меня недружелюбные, недоуменные глаза и отрывисто рыкнул:

– Чего вам еще? Ведь сказано, что рассказ ваш пойдет!

Я совсем растерялся от такого «начала». Но кое-как собрался с духом и сбивчиво забормотал о моем предположении ехать за границу и некоторой стесненности в ресурсах.

– В виду того что рассказ мой «пойдет», – заключил я, – позволю себе просить Вас одолжить мне вперед... немного денег?

При последнем слове М. Е. нахмурился как туча и так напряженно вытянул вперед шею, точно собрался меня проглотить.

– Денег... вот что! – На губах Щедрина появилась саркастическая усмешка, и он, вероятно, разразился бы саркастическим хохотом, если бы не разразился неожиданно страшным затяжным кашлем, от которого скрипнула жидкая кушетка и дрогнула редакторская конторка. Но припадок кашля прошел – и на мою голову посыпался настоящий град обличительных слов:

– Денег вперед... вот, признаюсь, не ожидал! Отлично... превосходно!! Милая пошла молодежь, нечего сказать! Чуть на бумагу чернил капнул – сейчас денег давай! А откуда я возьму денег... ну, откуда? – Он вытаращил на меня ожесточенные глаза: – Что я, министр финансов, что ли, чтобы зря швырять деньгами?? Дам денег – а потом свисти в кулак! Не сегодня-завтра прихлопнут журнал, – что тогда прикажете делать: разве у Казанского собора с протянутой рукой стоять? Петь Лазаря по дворам под старость, а? Я вас спрашиваю??.

Не помню, что он дальше говорил, но моему тогдашнему «офицерскому» самолюбию и эти слова показались достаточно обидными, и я решил откланяться.

– Бог с ними с деньгами в таком случае! – взволнованно проговорил я. – Простите за беспокойство!

Щелкнул шпорами и направился к дверям.

Вдруг слышу за собой новый окрик, уже совсем свирепый:

– Куда прёте? Дам денег!!

И представьте, дал (записку на выдачу из конторы «О<течественных> З<аписок>» аванса в размере 75 рублей), и не только дал, но даже обмолвился на прощании каким-то благопожеланием.

«Оригинал, брюзглив, а без малейшей злобы!» – невольно припомнился мне грибоедовский стих.

Оригинал М. Е. был неизменный, но брюзгой был далеко не всегда и в кругу сердечно расположенных к нему людей являлся «ангелом доброты и кротости», чему лучшим примером служит его заграничное сожительство с семьей врача Белоголового... Мало того, в откровенные минуты он не прочь был иногда даже поострить над своей собственной болезненностью и брюзгливостью. Тому же Белоголовому он как-то пишет: «Надо утром видеть, что со мной происходит? А врачи, видя меня, восклицают: “Какой у вас сегодня прекрасный вид!” А я, по крайней мере, раза четыре в день по полу часу лаю, как собака. Вот что значит быть сатириком: и лицо не настоящее!»

Шутки, шутками, а положение М. Е. в последние годы было действительно ужасное. «Организм М. Е. был весь изгрызен многолетней болезнью, и в нем не оставалось ни одного здорового органа. Надо только удивляться, откуда он набирался сил, чтоб писать!» (Воспомин<ания> Н. А. Белоголового)

Ах, бедный, бедный Михаил Евграфович!!

Признаться откровенно, мне на другой же день стало совестно за мое офицерское фанфаронство в присутствии такого заведомо больного старика, и на второй день Пасхи, накануне моего отъезда за границу, я отправился к Щедрину с визитом на дом.

М. Е. жил тогда на Литейной, близ Невского, стена об стену с домом К. П. Победоносцева. Обстановка квартиры была самая скромная, типичная обстановка чиновника средней руки, и я впоследствии очень смеялся, когда какой-то юный студент, описывая свой визит к Щедрину, не преминул кольнуть знаменитого сатирика: «будто бы защитник демократических начал сам утопал в роскоши».

Этот мой второй визит к Щедрину оказался куда более удачным, чем первый. Хотел ли М. Е. загладить первое дурное впечатление, произведенное в редакции «О<течественных> З<аписок>», или просто-напросто был в добром расположении духа по

случаю ясной погоды, но он принял меня на этот раз крайне приветливо, хотя не покидая своего обычного зловеще-сурового вида. Присоединилось, вдобавок, одно случайное обстоятельство, сильно меня растрогавшее: подойдя к М. Е., чтобы похристосоваться, мне невольно бросилась в глаза лежавшая на его письменном столе мартовская книжка «Нового Обозрения», как раз развернутая на моем рассказе: «Первое сражение».

Как это не покажется невероятным, но первое слово, вышедшее из уст Щедрина, был комплимент – комплимент по адресу моего рассказа, видимо только что прочитанного.

– Хаа-рошая вещь! – одобрительно проворчал М. Е., глядя ладонью по раскрытой странице журнала, и вдруг уставился на меня сердитыми глазами.

– Отчего не нам отдали «Первое Сражение», а? Отчего не нам??

Я что-то смущенно пробормотал, приблизительно в том смысле, что не смел мечтать о такой чести.

Щедрин опустил голову и медленно, как бы нехотя проговорил.

– Вот ваш «Неудачный Герой» не того..... не так мне нравится. Впрочем, может быть, и ошибаюсь, давно читал – утратил впечатление! Надо будет еще раз проглядеть. – Он хмуро на меня покосился. – Не изволите сердчать – я у вас в рукописи между прочим сделал две поправочки... в цензурных соображениях!

Мне оставалось только благодарить.

(Шутка сказать, – «щедринские поправочки»! Это выходило почти то же, что вставить среди простых камней алмазы чистой воды. Когда я их потом увидел, эти две характерные поправочки, по выходе книги «О<течественных> З<аписок>» с моим рассказом, я искренно пожалел, что их было «только две»!..)

М. Е. вдруг опять оживился.

– А вот «Первое Сражение» хорошая вещь! – настойчиво повторил он и неожиданно с таким угрожающим видом поднял правую руку, что я невольно попятился.

– Хаа-ррошая!! – глухо прорычал он и хлопнул изо всей силы кулаком по книге, так что даже стоявший на письменном столе стакан с недопитым чаем испуганно зазвенел.

После такого своеобразного выражения восторга М. Е. как-то ослабел и страшно закашлялся. Как раз горничная принесла ему на подносе внушительную пачку писем и телеграмм.

Я счел благовременным ретироваться.

Разумеется, беседа с таким большим человеком могла бы быть содержательнее, но я слишком волновался, для того чтобы найти нужные слова для завязки; а М. Е. с

незнакомыми людьми тоже не был особенно разговорчив, да и, как мне чувствовалось, казался смущенным за свой первый прием.

А когда он поднялся, чтобы проводить меня, я, признаться, совсем растерялся. Но он настойчиво, как был в халате, кашляющий, с изможденным лицом, – не только проводил меня до передней, но даже вышел на площадку лестницы.

Тут он еще в последний раз «накричал» на меня:

– Пишите побольше таких вещей, как «Первое Сражение»! Слышит-те??

Под этим грозным «Слышитте?» спустился я по лестнице. Я уже был внизу, когда М. Е. сверху рявкнул как из трубы:

– Пи-ши-те!!

Но на этот раз мне ничуть не было страшно.

«Суровый добряк!» – подумал я про себя, выходя на подъезд и награждая швейцара от полноты чувств.

Такое мнение об М. Е. подкрепил во мне и Д. А. Коробчевский, к которому я зашел вечером, в редакцию, чтобы поделиться впечатлением.

– Бог знает с чего он напускает на себя такую свирепость! – улыбаясь заметил К<оробчевский>. – В сущности это предобрейший человек. – И кстати привел мне несколько примеров «щедринского добродушия». Из них запомнился мне случай с Глебом Ивановичем Успенским.

Коробчевский одно время жил в Москве в одних и тех же меблированных комнатах с Глебом Успенским. Это было в самом начале литературной деятельности Г. И., и он страшно бедствовал. Оставалось одно: обратиться в редакцию «Отечественных Записок», хотя он уже задолжал в редакции порядочную сумму. В письме Г. Успенский усиленно подчеркивал, что им овладели особенно тяжелые обстоятельства. Выручил опять не кто иной, как тот же Щедрин, хотя и предпослал авансу краткое отеческое внушение: «Посылая аванс на сумму такую-то, весьма сожалею, что обстоятельства владеют Вами, а не Вы обстоятельствами!»

Видеть Щедрина мне пришлось всего три раза в жизни. В третий раз только мельком, уже после моего заграничного путешествия, следующим летом.

Непредвиденно на долю моего скромного писательского кабинета на Надеждинской выпала высокая честь: собрать у себя редакцию «Отечественных Записок» с самим Щедриным во главе!.. Срок контракта в прежнем помещении окончился, а нового еще не было подыскано, и приходилось где-нибудь устроить последний «приемный день» перед летним разгоном – оказалось, что всего удобнее у меня, так как родные мои были на даче и просторная квартира была совершенно свободна. Разумеется, лично я устранил

всякий след своего присутствия, распорядившись лишь в качестве хозяина насчет приличного чаепития в столовой для членов редакции.

К сожалению, на этот раз Щедрин пробыл «на приеме» очень недолго: ему надо было по какому-то огорчительному делу съездить в Главное управление по делам печати. Он уже сходил с лестницы, когда меня предупредили, и когда я сбежал вниз в швейцарскую, он уже готовился сесть в карету... Он шел бодро, высоко закинув голову, с туго набитым портфелем под мышкой, производя со стороны впечатление министра, отправляющегося в Министерство. Такое впечатление усиливалось благодаря следовавшим за ним почтительно двум членам редколлегии и швейцару, подобострастно отворившему перед ним двери и подсадившему в карету. Генерал, как есть генерал!..

По отъезде патрона, члены редакции перешли в столовую к самовару и, благодаря присутствию А. Н. Плещеева, завязалась оживленная беседа – по преимуществу около оригинальной личности Щедрина. В этот день М. Е. был в особенно острословном настроении и обронил несколько ярких, чисто «щедринских» словечек. Записываю кое-что уцелевшее в памяти....

Явилась, между прочим, на прием какая-то расфранченная дама с любовными стихами. Стихи оказались не только безграмотные, но даже порнографические.

Щедрин пробежал стихи, свирепо покосился на даму и прорычал:

– Вы, милостивая государыня, дверью ошиблись: здесь не кабак, а редакция литературного журнала!

Та так растерялась, что могла только выговорить:

– Ах, monsieur Салтыков, как вы нелюбезны с дамами!

– Уж извините: у меня совсем другая специальность!! – поправился М. Е.

Явилась другая дама, более скромная, и вручила М. Е. какой-то рассказик, причем чтобы расположить в свою пользу сурового редактора, стала усиленно расхваливать последнюю книжку «Отечественных Записок».

– Особенно мне понравился роман О. Ш., – (она назвала имя известной писательницы) Очень хорошо написано!

– Не написано, а *напечатано* хорошо!! – огрызнулся М. Е.

Плещеев тут объяснил, в чем дело. Роман действительно был интересно написан, но чисто по-дамски растянут, и третья часть почти была повторением двух первых. Щедрин, долго не думая, перечеркнул всю третью часть целиком и вставил на ее место всего несколько ярких щедринских строк, посвященных непредвиденной смерти героини.

Не менее метко выразился он о другом романе – одного известного писателя, назову его N. Роман был длинный-предлинный, в модной тогда манере «золаизма», с

описанием мельчайших подробностей обстановки. Когда Плещеев в качестве секретаря редакции справился о судьбе романа, Щедрин напустился на Плещеева:

– Да что вы, батенька, какой же это роман? Это просто-напросто *каталог вещей*, а вовсе не роман! У нас, слава Богу, не мебельный магазин!!

Так роман известного писателя и не прошел.

С этим же самым известным писателем N. разыгрался, кстати сказать, довольно забавный анекдот на вечере у того же Плещеева. Плещеев в интимном кружке литераторов передавал впечатления Щедрина о его пребывании в Париже. Между прочим, М. Е. с большим юмором рассказывал о посещении какого-то театра, где давалась производившая фурор феерия. Феерия сама по себе не представляла ничего особенного, и фурор производила главным образом одна из картин, где, на фоне декорации каскада из живой воды, демонстрировалась при электрическом освещении живописная группа совершенно обнаженных женщин.

– Понимаете, с полсотни баб и все нагишом, показывает публично при электрическом сиянии то, чего не следует. Омерзение, понимаете, вопиющее! А возле меня как раз уселся какой-то облезлый франт, в клетчатых брюках, и как только все это безобразие началось, ну себя шлепать от полноты чувств по ляжкам. Шлепает и подвизгивает:

– Вот это Европа-с! Эт-то я понимаю-с!!

Писатель N. не выдержал и подскочил на своем стуле.

– Позвольте, как же это М. Е. мог так говорить? Ведь это же я тогда сидел с ним рядом! Я же его и на феерию затащил?!...

Получилась картина, не требующая комментария.

Слово М. Е. было беспощадно, хотя бы касалось даже близкого ему человека. Дмитрий Васильевич Григорович, как известно, имел склонность к сентиментальности, а также к произнесению надмогильных речей «со слезой». И вот Щедрин, которому зачем-то понадобилось видеть Д. В., обращается однажды, в редакции, с таким словом к Плещееву:

– Узнайте, пожалуйста, можно ли видеть Дмитрия Васильевича *в свободное от слез время?*

Пересказ щедринской речи иногда много теряет, в силу необходимости смягчать то или другое нецензурное словцо, тем более что в этом отношении М. Е. мало стеснялся и фантазии его часто принимали самый странный оборот.

Однажды, будучи в особенно угнетенном состоянии духа, М. Е. в присутствии Плещеева принялся вдруг пророчествовать о своей смерти: «будто похоронят его за

городом на пустыре, где сваливают мусор, без песнопения и колокольного звона, и, когда его заруют, забредет на могилу пьяный монах и осквернит свежую могильную насыпь. (Рассказчик выразился несколько сильнее.)

– И будет это в городе Туле! – мрачно заключил он.

– Почему в Туле – никто не мог понять, по всей вероятности и сам Щедрин.

Нечего и говорить, что зловещее пророчество ни мало не оправдалось. Умер М. Е., как известно, в Петербурге и с большой торжественностью был похоронен на Волковом кладбище, в тесном соседстве с могилами Тургенева и Кавелина.

Решительный удар его расшатанному здоровью был нанесен запрещением в 1884 г. «Отечественных Записок», хотя и тут он не изменил своей привычке – острословить в самые тяжкие минуты жизни. После запрещения «Отечественных Записок» он писал Белоголовому: «Что касается до моего социального положения, то я теперь все равно, что генерал без звезды. Никак не могу выяснить себе, какого я пола!»

Кроме чувствительного материального ущерба и невеселой перспективы – обратиться из независимого хозяина в зависимого сотрудника, – по свидетельству Белоголового, – еще более чувствительное разочарование нанесло ему отношение общества: не только не нашел он в нем никаких признаков сочувствия, каких вправе был ожидать, но весьма многие из его некогда страстных поклонников стали теперь видимо сторониться от него, как от зачумленного. Между прочим, в Твери, где он был вице-губернатором и где в местном земском музее красовался его бюст, этот самый бюст, по запрещении «Отечественных Записок», предусмотрительно был прибран на чердак.

Огорчения шли своим чередом, а болезнь своим – и теперь более быстрыми шагами.

А. Н. Плещеев, усердно посещавший Щедрина в последние дни, рассказывал мне характерный эпизод о посещении больного сатирика О. Иоанном Кронштадтским.

Когда Щедрину стало особенно худо, домашние стали уговаривать его послать за «отцом Иоанном». Больной принял это предложение весьма благодушно.

– Что ж, я не прочь!.. Отчего не побеседовать с хорошим человеком? А только вот студенты станут зубоскалить! Знаю я эту публику...

Так или иначе, но о. Иоанн Кронштадтский вскоре явился к одру больного. По непредвиденной случайности, как раз в это время у одра находился другой знаменитый человек: Сергей Петрович Боткин. Нечаянно столкнулись таким образом две российские знаменитости по врачебной части – врач телесный и врач духовный. Но отец Иоанн нашелся и, завидя Боткина, благодушно проговорил:

– Я знаю, Сергей Петрович не ревнив и ничего не будет иметь против вмешательства духовного ведомства!

Увы, и Сергей Боткин, и о. Иоанн Сергиев были призваны слишком поздно, чтобы помочь многострадальному писателю: дни М. Е. уже были сочтены.

28 апреля 1889 г., в то самое время, когда по Невскому проспекту тихо двигалась пышная траурная колесница с прахом злейшего врага Щедрина графа Дмитрия Толстого, можно сказать, сгубившего литературную деятельность М. Е. в самом ее расцвете, – в то самое время жертва его, писатель-мученик, доживал свои последние земные часы.

На другой день вечером мне пришлось присутствовать на панихиде по М. Е. в знакомой квартирке на Литейной. Была ужасная теснота и духота. Но особенного благоговения и скорби в набившейся публике что-то не замечалось – больше бросалась в глаза человеческая суэта и любопытство. Не обошлось и без психопатического инцидента. Я был свидетелем, как какая-то упитанная краснощекая дама, не удовольствовавшись обычным целованием образка на груди покойного, не поцеремонилась вытащить наружу самую голову покойного и торжественно чмокнула М. Е. в засос, в самый лоб.

Я возмутился и кинулся к одному из распорядителей, известному публицисту С. Но С. только пожал плечами:

– Что я тут могу? Раз популярный писатель умирает, он делается в некотором роде общественной собственностью!

Теперь мне оставалось пожать плечами, в свою очередь....

На похоронах Щедрина, 2-го мая, на Волковом кладбище, происходило уже чистое столпотворение. Это были типичные «литературные похороны», как раз напрашивавшиеся в щедринскую сатиру – с давкой и визгом около могилы, с потоком крикливых несурзных речей над могилой и с ожесточенным истреблением венков по окончании церемонии. Вдобавок, день выдался хмурый, дождливый, усугублявший тяжелое настроение...

Невольно вспомнился экспромт Апухтина, оброненный шесть лет тому назад, на тургеневских похоронах:

Когда ничтожная и глупая орава
Беснуется над трупом мудреца,
Мне хочется спросить: О, что такое слава?
Каемка траура в журнале «Стрекоза»,
Ореста ль Миллера похвальная сатира,
Суконная печаль фотографа Шапира,
Иль... Григоровича слеза?!

Январь, 1910 г.